



## **Жизнь и воротник**

Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.

Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.

Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник, с продернутой в него желтой ленточкой.

Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно.

Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила.

Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег.

Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.

Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути?

Олечка заложила серебро и браслетку.

На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер.

На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок.

Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:

— Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого.

Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.

Следующие дни были еще тяжелее.

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.

— Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник.

Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.

Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода.

Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал.

Так дело шло все хуже и хуже.

Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?

Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие — ни за что на свете.

Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал.

Однажды ее пригласили на вечер.

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник натянулся на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево.

За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу.

Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил:

— Только-то?

Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала:

— Господи! Куда я попала?!

После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем дело.

Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:

— Моя дорогая!

А воротник пошло захихикал в ответ.

Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.

Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул:

— Только-то?

Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в кабинет.

— Да ведь здесь нет никакой музыки! — возмущалась Олечка.

Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.

Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж.

Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытасканные из Олечкиного стола.

— Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была?

Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию.

— Где была? Со студентом болталась!

Честный муж пошатнулся.

— Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?

— Деньги? Профукала!

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово — «профукала»? Она ли это сказала?

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.

Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке.

Кроткая Олечка служит в банке.

Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь».

— А где воротник? — спросите вы.

— А я-то почему знаю, — отвечу я. — Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте.

Эх, жизнь!

## Корсиканец

Допрос затянулся, и жандарм почувствовал себя утомленным; он сделал перерыв и прошел в свой кабинет отдохнуть.

Он уже, сладко улыбаясь, подходил к дивану, как вдруг остановился, и лицо его исказилось, точно он увидел большую гадость.

За стеной громкий бас отчетливо пропел: «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»

Басу вторил, едва поспевая за ним, сбиваясь и фальшивя, робкий, осипший голосок: «ря-бочий на-рёд...»

— Эт-то что? — воскликнул жандарм, указывая на стену.

Письмоводитель слегка приподнялся на стуле.

— Я уже имел обстоятельство доложить вам на предмет агента.

— Нич-чего не понимаю! Говорите проще.

— Агент Фиалкин изъявляет неперемнное желание поступить в провокаторы. Он вторую зиму дежурит у Михайловской конки. Тихий человек. Только амбициозен сверх штата. Я, говорит, гублю молодость и лучшие силы свои истрачиваю на конку. Отметил медленность своего движения по конке и невозможность применения выдающихся сил, предполагая их существование...

«Крjававый и прjавый...» — дребезжало за стеной.

«Врешь!» — поправлял бас.

— И что же — талантливый человек? — спросил жандарм.

— Амбициозен даже излишне. Ни одной революционной песни не знает, а туда же, лезет в провокаторы. Ныл, ныл... Вот, спасибо, городской, бляха № 4711... Он у нас это все как по нотам... Слова-то, положим, все городские хорошо знают, на улице стоят, — уши не заткнешь. Ну а эта бляха и в слухе очень талантлива. Вот взялся выучить.

— Ишь! «Варшавянку» жарят, — мечтательно прошептал жандарм. — Самолюбие — вещь недурная. Она может человека в люди вывести. Вот Наполеон — простой корсиканец был... однако достиг, гм... кое-чего.

«Оно горит и ярко рдеет. То наша кровь горит на нем», — рычит бляха № 4711.

— Как будто уж другой мотив, — насторожился жандарм. — Что же он, всем песням будет учить сразу?

— Всем, всем. Фиалкин сам его торопит. Говорит, будто какое-то дельце обрисовывается.

— И самолюбьище же у людей!

«Семя грядущего...» — заблеял шпик за стеной.

— Энергия дьявольская, — вздохнул жандарм. — Говорят, что Наполеон, когда еще был простым корсиканцем...

Внизу с лестницы раздался какой-то рев и глухие удары.

— А эт-то что? — поднимает брови жандарм.

— А это наши союзники, которые на полном пансионе в нижнем этаже. Волнуются.

— Чего им?

— Пение, значит, до них дошло. Трудно им...

— А, ч-черт! Действительно, как-то неудобно. Пожалуй, и на улице слышно, подумают, митинг у нас.



«Пес ты окаянный! — вздыхает за стеной бляха. — Чего ты воешь, как собака? Разве революционер так поет! Революционер открыто поет. Звук у него ясный. Каждое слово слышно. А он себе в щеки скулит да глазами во все стороны сигаёт. Не сигаЙ глазами! Остатний раз говорю. Вот плюну и уйду. Нанимай себе максималиста, коли охота есть».

— Сердится! — усмехнулся письмоводитель. — Фигнер какой!

— Самолюбие! Самолюбие, — повторяет жандарм. — В провокаторы захотел. Нет, брат, и эта роза с шипами. Военно-полевой суд не рассуждает. Захватят тебя, братец ты мой, а революционер ты или честный провокатор, разбирать не станут. Подрыгаешь ножками.

«Нашим потом жиреют обжо-ры», — надрывается городской.

— Тьфу! У меня даже зуб заболел! Отговорили бы его как-нибудь, что ли.

— Да как его отговоришь-то, если он в себе чувствует эдакое, значит, влечение. Карьерист народ пошел, — вздыхает письмоводитель.

— Ну, убедить всегда можно. Скажите ему, что порядочный шпик так же нужен отечеству, как и провокатор. У меня вон зуб болит...

«Вы жертвою пали...» — жалобно заблеял шпик.

— К черту! — взвизгнул жандарм и выбежал из комнаты. — Вон отсюда! — раздался в коридоре его прерывающийся, осипший от злости голос. — Мерзавцы. В провокаторы лезут, «Марсельезы» спеть не умеют. Осрамят заведение! Корсиканцы! Я вам покажу корсиканцев!..

Хлопнула дверь. Все стихло. За стеной кто-то всхлипнул.

## Они поют...

Они начинают петь с шести утра. Из окна моей комнаты я могу видеть прачечную, где они работают, и вылетающие из дверей клубы белого пара, словно пронизанного стальными вибрирующими нитями, их звонкими и глухими, резкими и тягучими разнообразно-ужасными голосами.

От голосов этих нельзя ни укрыться, ни спастись. Они найдут и разыщут вас всюду, они прервут ваш сон, оторвут ваше внимание от работы, от интересной книги и, незримым тонким крючком подцепив вашу протестующую и негодующую душу, потянут ее в царство пошлости, из которой рождены.

Нужно бежать, прямо бежать на улицу, — мелькает в голове. Но вы бросаете взгляд на письменный стол, где лежит неоконченная работа, вспоминаете раскаленные камни мостовой и остаетесь дома.

А они поют, поют, поют... Репертуар их песен самый несложный, но к нему никогда нельзя привыкнуть, как не могли привыкнуть дети Якова Д'Арманьяка к тому, что, по приказанию Генриха VIII, им выдергивали каждый день по одному зубу; не могли, несмотря на все однообразие этой пытки.

Куда уплыла широкая стонущая волна старой русской песни, с ее грустными, захватывающими пере-

ливами, с наивными бессознательно-красивыми словами? Неужели она бесповоротно вытеснена безобразными и бессмысленными фабричными напевами? В глуши Могилевской губернии, на расстоянии более ста верст от железной дороги, деревенские бабы распевают «Канхветка моя, лядинистая». Этот гостинец, вместе с безобразными «модными» кофтами, принесли им мужья из далеких городов, куда они ходят на заработки.

Знаменитые песни «Не одна во поле дороженька», «Не белы снеги» заброшены совсем. Деревенская молодежь их не любит, говорит, что это песни мужицкие (оказывается, что мужикам не нравится «мужицкое», их же собственное свойство!).

Я вспоминаю эти красивые полузабытые песни, а те, там внизу, все поют и поют! Сегодня нет между ними согласия и единства. Каждая тянет свое. Вот широким серым винтом крутится однообразная, тоскливая мелодия, прерываемая длинными паузами, во время которых я замираю от ожидания, от смутной надежды, что этот куплет был последним. Но винт продолжает кружиться, ввинчивается в мои мысли, разбивает их...

Мамашенька руга-ала! —

широко, повествовательно и убедительно сообщает новый тягучий голос, и мне кажется, что я вижу источник его — растянутый поблекший рот, увенчанный круглым красным носом, и я всецело становлюсь на сторону «мамашеньки», которая ругала.

А вот другой восторженный голос предлагает полюбоваться совершенно невообразимым пейзажем, но, должно быть, успокоительным:

Посмотри, над рекой  
Вьется мрамор морской.

А вот еще новый куплет, который даже приводит  
меня в умиление:

Напишу я твой портрет,  
Господа будут съезжаться,  
На портретах любоваться,  
В один голос говорить:  
Да и что это за прелесть!  
Неужели — человек?

О, светлая, девственная, нетронутая глупость! Глу-  
пость, перед которой, по словам Гете, преклонялись  
даже боги!

А они все поют, поют... Я ненавижу их! Я возмуща-  
юсь против себя самой, но я ненавижу их! Я стараюсь  
внушить себе мысль, что это бедные женщины-тру-  
женицы, что песнью своей они скрашивают жизнь,  
облегчают труд, что это их неотъемлемое право, но  
мысль эта скользит по поверхности моей души, не  
затрагивая ее.

Потом я начинаю утешать себя, что не могут они  
петь без отдыха весь день. Должны же они, наконец,  
хоть обедать, что ли! И я представляю себе большие,  
огромные куски хлеба, которыми мысленно затыкаю  
все эти отверстия, звенящие и гудящие рты.

Но они, вероятно, обедают по очереди, потому что  
голоса их не смолкают весь день.

Не смейся надо мной,  
Господь тебя накажет  
Возвратною женой.

«Возвратною женой!» Как это звучит! «Возвратная жена!» Словно возвратный тиф. Нет, еще хуже. Мой утомленный мозг рисует мне странные, нелепые картины... А они все поют, поют...

Я смотрю на часы: четыре! Итак, полдня я слушаю их. Да, да! Они поют, а я слушаю! Мне начинает казаться, что я сошла с ума, что реально существовать не может такого ужаса.

В продолжение получаса думаю об инквизиционных пытках Торквемады! Детские забавы! Грубые, примитивные приемы для вызова физических страданий.

Прачку! Одну петербургскую прачку нужно было им.

Я мысленно предаю всех своих врагов, затем друзей и родственников, затем клевету на близких и дальних своих. Какой жертвы хочешь ты от меня еще, прачка?

Последнее средство: возьму старую, давно знакомую, давно любимую книгу. Она захватит мою душу, уведет ее за собой. Я беру том Шекспира, открываю его и, оборачиваясь к окну, говорю заклинание: «Прачка! Трехвековая нетленная красота в руках моих. Сгинь! Пропади!»

Я читаю, глаза скользят по строчкам, которых я не вижу, не понимаю, не могу понять. Я слышу, как «ругает мамашенька» и «вьется над рекой морской мрамор»! Спасенья нет. Я бросаю книгу и начинаю метаться по комнате, ломая руки и повторяя, как леди Макбет: «It will make me mad! It will make me mad!»\*

А они все поют! поют! поют!..

---

\* Это сведет меня с ума! Это сведет меня с ума! (англ.)

## Страшный прыжок

*Посвящаю Герману Бангу  
и прочим авторам рассказов  
об акробатках, бросившихся  
с трапеции от несчастной любви*

### 1

Многие думали, что Ленора не любит его.

Может быть, считали его, толстого, краснощекого и спокойного, неспособным вызвать нежное чувство в избалованной успехом девушке? Может быть, не знали, что любовь такая птица, которая может свить себе гнездо под любым пнем? Может быть. Но какое нам дело до того, что думали многие?

### 2

Каждый вечер сидел он на своем обычном месте в первом ряду кресел.

Его цилиндр блестел.

Тихо, под звуки печального вальса, качалась разубранная цветами трапеция.

Гибкая, стройная, то прямая как стрела, то круглая как кольцо, то изогнутая как не знаю что, кружилась Ленора.